

*Александр ВОЛКОВ*

### **ДОЖИТЬ ДО БЕССМЕРТИЯ (отрывок из романа)**

Начал Д. с вопроса, обращенного к Л. и мне. Помним ли мы день, когда Гагарин облетел Землю? Что каждый из нас делал в момент, когда по радио передали известие об этом событии? Лично я, двенадцатилетний школьник шестого класса средней школы, стоял в очереди за булкой – белый хлеб привозили в наш шахтерский поселок раз в неделю; в этот день перед продуктовым магазином с рассвета собиралась очередь, и я занимал место в ее хвосте по пути из школы и не заходя домой, чтобы оставить портфель и что-нибудь съесть. Я был голоден; после пятого урока подрался в раздевалке с одноклассником; мы разбили друг другу носы, и я, стоя в очереди, зажимал ноздрю носовым платком, унимая кровь. Над очередью нависал уличный динамик, закрепленный под свесом крыши; он глухо гудел, потрескивал как трансформатор, и этот звуковой фон в сочетании с серым, провисшим как влажная простыня, небом, погружал людей в состояние тупого безразличного оцепенения, тем более что хлебный фургон запаздывал, и по очереди сквознячком пробегал слушок, что он может не приехать вообще.

И вдруг динамик над моей головой словно взорвался, лопнул как стальной орех, вправленный в дюралевый венчик громадного цветка, оплодотворенного пылью эфира. Треск еще какое-то время заглушал начальные слова диктора, но их смысл, пробившись сквозь помехи, дошел до сознания поселковых обывателей. В этот момент в конце дороги, ведущей от шоссе к поселку, показался хлебный фургон, но те, кто высматривали его появление, не выразили никаких эмоций: все словно оцепенело и стояли так, будто в пространстве, охваченном звуками из динамика, остановилось Время, а с ним и всякое движение. Еще я запомнил, что вечером того дня отец долго не возвращался, и мама выходила на кухню и, не включая свет, смотрела в окно и курила, укрывшись за тюлевой занавеской. Отец явился за полночь, пьяный, не раздеваясь рухнул на диван в гостиной, а когда мама стала стягивать с него сапоги, раздался звонок, и на пороге нашей квартиры возникли трое подвыпивших папиных сослуживцев, сказавших, что Олег Палыч приглашал их на коньяк в ознаменование открытия космической эры.

Говорившие топтались в прихожей, перебивали друг друга пьяными возбужденными голосами, я не спал, встревоженный состоянием мамы и тем, каким явился отец, которому после недавнего, с месяц назад, сердечного приступа напроочь запретили алкоголь и курение, но слова: открытие космической эры – вошли в мое сознание, выделившись из шума в прихожей. Мама попыталась было выпроводить ночных гостей, и те вроде готовы были уйти, но тут проснулся отец, и все двинулось на кухню, стараясь пройти мимо двери моей комнаты как можно тише.

Д. перебил меня раньше, чем я дошел до этого момента. Похоже, его, как и меня тогда, зацепило выражение «открытие космической эры»; взгляд уперся в точку поверх моего лба, глаза подернулись пленкой, и мы с Л. услышали тихий шепот, звучащий так, как если бы заговорил не Д., а все пространство холла завибрировало на звуковых частотах: сразу поняли, а потом забыли, погрязли в суетах, в мечтах – батоны, коньяки, яблони на Марсе.

Думаю, он был прав. Красивые слова заморозили действительность; все размечтались, расслабились, решив, что грядущее счастье придет само, и можно жить по инерции в ожидании его прихода. Так дети, проходя мимо афиши с запретом «до 16-ти», завистливым взглядом провожают обывателей, прошедших билетный контроль и фланирующих за стеклами вестибюля.

Л. была немногословна. В то утро их машина попала в аварию, и она очнулась через сутки в больничной палате, где на стене рядом с дверью висел приемник, и голос диктора говорил, как встретили весть о полете Гагарина в разных странах, городах, на всех континентах. Кроме нее в палате были еще шесть пациенток; все в гипсе, на

растяжках, но та, что могла двигать руками, держала перед собой газету и поворачивала во все стороны ее полосы с фотографией Гагарина в гермошлеме и тем снимком, что был сделан по его возвращении на Землю. Это были два разных человека, один «до», другой «после». И была черта, которую он перешел, и эту черту нельзя было зафиксировать никаким оптическим прибором, потому что она была не вне человека, а внутри него, внутри каждого из нас, во всем человечестве, которое вслед за ним должно было переступить ее, но замерло перед ней как бесы перед меловым кругом, обведенным вокруг запертого в храме праведника.

Под приглушенный гвалт голосов на кухне я заснул, но проспал, по-видимому, недолго, разбуженный внезапным приступом внутренней тревоги. В квартире было тихо, гости ушли, родители спали, свет от уличного фонаря бледным млечным заревом окрашивал оконные стекла, потолок был расчерчен четким рисунком рамы и размытыми полосами кисейных занавесок, но во всей этой тишине ощущалось что-то настороженное; сама моя комната как бы напряглась в ожидании кого-то или чего-то, что никак нельзя было определить до его появления. И тогда ко мне впервые явился тот старичок в драном ватнике, скомканной ушанке с торчащим над макушкой левым ухом и пятиконечной вмятиной от звездочки, выдранной из мехового козырька. Я сразу понял, точнее, всем существом своим ощутил, что его приход возвещает что-то недоброе, и что его появление в дверном проеме не есть обычный сон или даже кошмар, из которого можно даже в последний, самый жуткий момент, выскочить усилием воли, и хотя я все же сделал такую попытку, напрягся, пытаюсь разомкнуть веки, но ночной гость не исчез, а продолжал придвигаться к моей постели, как будто скользя по половицам войлочными подошвами высоких, почти достигающих краев ватника, валенок. Холодом от него повеяло за шаг до меня, так, как если бы кто-то с улицы внезапно распахнул окно, и в комнату дохнуло крещенской стужей. Я внутренне сжался, стараясь подтянуть колени к груди и свернуться как плод в материнской утробе, но тем самым лишь освободил дальний угол постели, как бы приглашая ночного гостя присесть. Старичок сел, отвернул голову от законного света, так что черты его сморщенного темного личика сделались почти неразличимы, и из-под низко надвинутого козырька ушанки выступал один нос, по очертаниям схожий с клювом осьминога, каким он был изображен в учебнике «Природоведения». Край его ватника коснулся складки на одеяле, и холод от этого касания проник в мои подошвы и стал подниматься к груди, заполняя мое тело как вода, хлынувшая в пробоину в борту корабля. Я хотел вскрикнуть, но ни язык, ни горло не повиновались мне, словно оцепеневшие от погружения в жидкий азот. Я с ужасом ждал, что будет дальше, напрягал скованные холодом мышцы, готовясь сопротивляться, но старичку, по-видимому, оказалось достаточно впечатления, которое он произвел своим появлением. Он медленно повернул голову в мою сторону, и я увидел его глазки, похожие на кварцевые окатыши, прикрытые щепочками век, поставленными наподобие двух крошечных домиков. При этом, как ни странно, это был взгляд живого человека, словно укрывшегося внутри ветхого, наброшенного на портновский манекен, тряпья. Глаза, встретившись с моими, вспыхнули двумя вспышками, похожими на электрические разряды при замыкании проводки, и тут же погасли, и старичок обмяк как тряпичная кукла, выброшенная на свалку. Я понял это так, что тот, «внутренний человек», хотел сообщить мне что-то очень важное, что нельзя передать словами, и, исполнив это, вновь исчез, оставив меня обдумывать полученное знание.

Ночной гость исчез незаметно; он привстал, начал как-то боком, как краб, отодвигаться от моей постели и, по мере приближения к двери, то ли постепенно растворялся в сумерках, то ли сливался с тенями, падавшими от плотных штор по краям окна, аквариума на комод и насеста из корявых сосновых сучьев, среди которых неподвижными челночками темнели два волнистых попугайчика, будивших меня по утрам своим залихватистым щебетаньем. Возможно, эта картина, точнее, вид моей комнаты, предстал перед моим взором по пробуждении, но если старичок явился во сне, то где была

грань между реальностью и миражом, и не был ли старичок призраком, не нашедшим успокоения в загробном мире?

Смысл знания, который он пытался мне передать, раскрылся ближе к ночи следующего дня. Утром отец еле встал, за завтраком тупо тыкал вилкой в яичницу, а когда перед выходом в школу, он дрожащей рукой погладил меня по голове, в мои ноздри отчетливо пахло табачно-коньячным перегаром. Вечером после работы ему помогли подняться в квартиру двое вчерашних гостей. Мама сразу уложила отца в постель, но пока она хлопотала на кухне, отец – я видел это сквозь щель в двери спальни – встал, извлек из недр шкафа, недопитую бутылку коньяка, сделал несколько глотков из горлышка и, затолкав бутылку под стопку белья, вернулся в постель и до подбородка натянул на себя одеяло.

И в этот момент мне вдруг сделалось так страшно, словно в нашу квартиру стал ломиться грабитель или убийца, и дверь уже начала подаваться под его напором. Я ничего не сказал маме, но укрылся в своей комнате и сел на пол перед аквариумом, обхватив голову руками так, как если бы на меня начал сыпаться потолок. Не помню, как долго я пробыл в таком положении, но очнулся от крика мамы, звавшего меня на помощь. Я вскочил и кинулся в родительскую спальню. Отец лежал на постели, откинув голову на подушку, и шарил руками по груди, пытаясь разорвать вылинявшую от стирок тельняшку. Его крепкие как ореховая скорлупа ногти с бурыми каемками сланцевой пыли скребли по бледно-голубым полоскам, а губы были почти черные, и в уголках рта мелкими пузырьками вскипала желтая пена. Мама одной рукой подносила к его носу ватку с нашатырем, а другой растирала отцу то одно, то другое предплечье. Когда я вбежал, она откинула одеяло от ног отца и крикнула: ноги растирай! Я сходу упал на колени перед кроватью, схватил мускулистую голень с татуировкой рукоятки финки, торчащей из раны, нанесенной клинком, и вдруг с ужасом ощутил ладонью тот же леденящий холод, что исходил от ночного старичка. Но если накануне этот ужас парализовал все мои движения, то тут я, напротив, ощутил прилив сил и стал растирать голень, начиная от колена и спускаясь к лодыжкам с выпирающими из-под тонкой кожи костяшками. Я тер то одну, то другую ногу отца, но холод не уступал, и чтобы усилить давление, я поставил ладонь ребром и стал буквально вминать ее в цепенеющие мышцы. Мама сбегала на кухню, вернулась с эмалированной кружкой горячего чая и, приподняв голову отца, стала вливать чай в его иссиня-черные полураскрытые губы. Глаза отца были полуприкрыты, из-под краев век просвечивали сероватые серпики глазных яблок; лицо было бледное, с желтыми пятнами на щеках, и по впалым вискам к ушам стекали прозрачные капли пота.

Старания наши оказались не напрасны; отец задышал, прерывисто втягивая носом воздух, и хотя чай, вливаемый мамой, проливался на тельняшку, но когда отец приоткрывал рот, какие-то глотки все же проникали сквозь его губы, обметенные пенистой каймой. Прежде, чем позвать на помощь меня, мама, я слышал, крикнула из окна спальни пацанам, играющим в футбол на пустыре между домами, чтобы кто-то добежал до больницы, что была в соседнем поселке километрах в трех от нас. Игра шла поселок на поселок, кто-то приехал на велосипеде и, поняв, что дело крайне важное, оседлал его и, вырулив на шоссе, погнал что было сил. Вскоре под окном загудела «скорая», в прихожую вошли люди, двое или трое, в белых халатах; кто-то нес большую, туго надутую, подушку с резиновой кишкой и пластиковым нагубником; я вышел навстречу, меня отгеснили, проходя в спальню; там началась какая-то возня; снизу принесли брезентовые носилки, и я, отступив вглубь коридора и вжавшись в угол между дверями кухни и своей комнаты, видел, как отца выносили, и доктор, идя с краю, придерживал рукой резиновую подушку на его груди.

«Скорая» уехала, и когда мы с мамой остались одни, она подошла ко мне и тихо сказала: мальчик мой, ты видел смерть. Я запомнил эту фразу так отчетливо, как если бы услышал ее из уличного динамика, включенного на полную мощность. Не вполне точным в ней было лишь слово «видел»; то есть я, конечно, видел, и вид распростертого на

постели отца запомнился так же четко, как интонация маминого голоса, такая, какой я не слышал никогда ранее, но самым жутким ощущением остался каменный холод под моими ладонями, особенно на их ребрах, взглянув на которые, я увидел, что кожа на них висит лохмотьями, похожими на рыбий пузырь, лопнувший под давлением пальцев.

Но это происходило на следующий день после полета Гагарина, и я оставил это воспоминание при себе, как не имеющее связи с тем, о чем вопрошал Д. Впрочем, он, похоже, не очень-то и слушал то, что мы с Л. ему говорили, то есть он, конечно, слушал, и даже склонял голову набок как бы в знак повышенного внимания к услышанному, но это, я подозреваю, была не более, чем имитация; что-то подсказывало мне, что мозг его занят разрешением то ли некоей загадки, то ли, поиском подходящих слов для выражения того откровения, что посетило его в бревенчатой башенке, срубленной в «чашку», как издревле рубили на Руси избы и церкви.

Л. говорила после меня, вспоминая не только больничную палату, где женщина на соседней койке с загипсованной до бедра и подвешенной на растяжке ногой оборачивала ко всем газету с двумя – до и после полета – фотографиями Гагарина, но и то, как она, Л., вдруг отчетливо, до пронзительной ясности, поняла, что ее положение непоправимо, и что она никогда не сможет не то, что летать, но просто встать и пройти по земле, не опираясь ни на какие подпорки.

Д. в ответ рассеянно бормотал что-то в том смысле, что в тот день не только каждый понял что-то очень для себя важное, но что все мы на миг словно прозрели каким-то иным зрением, не тем, что видит одну поверхность вещей и явлений, но прозревает скрытый за ними смысл существования как такового. Бормоча, он двигался все дальше, дальше, чем-то походя на человека, который направляется вглубь абсолютно темной пещеры, пробуя путь выставленной перед собой тростью.

Воспроизвести этот монолог дословно я не возьмусь, помню лишь его идею, суть которой сводилась к тому, что мы, ныне живущие, можем считать себя невероятно счастливыми людьми – современниками одного из событий, которые случаются раз в тысячелетие, точнее, двух тысячелетий, и что в этом смысле мы равны двенадцати апостолам, свидетельствующими о Христе, как единородном Сыне Божиим. Это, должен признать, дошло до меня не сразу, да и сам Д., похоже, не очень рассчитывал, что мы с Л. пойдем его с ходу. Прежде, чем продолжать, он сделал паузу, внимательно посмотрел на нас, как бы пытаясь сделать бессловесное внушение, а затем продолжил монолог тем же тихим, но очень отчетливым голосом, словно впечатывающим звуки в наши уши.

– Он дал нам знамение, взятый живым на небо и сошедший с небес, конечно, тут и техника, материализация фантазий, Циолковский, Жюль Верн, из пушки на Луну, но это все железо, которое забудется, и ему на смену придет другое, более совершенное, но он останется как миф, ибо второго такого не будет, потому что не может быть никогда. Он один, но и мы все в нем так же как в Адаме, вкусившем от яблока с Древа Познания и ставшем как Боги, знающие Добро и Зло. Я ясно говорю?

Мы с Л. молча кивнули, но при этом переглянулись, как если бы слушали человека, скользящего мыслью по тонкой грани, отделяющей ясный рассудок от безумия. Чезаре Ломброзо в книге «Гениальность и помешательство» сближает эти два состояния, объединяя их в понятие «маттоид» – человек, пораженный некоей идеей в такой степени, что его одержимость становится заразительной и вовлекает в зону своего воздействия все большее и большее число сторонников. С такой точки зрения маттоидом можно в каком-то смысле считать и Иисуса Христа с его Нагорной проповедью и апостолами, первыми подпавшими под обаяние его харизмы. Д., впрочем, повезло в том отношении, что его первыми слушателями стали мы с Л.; озари его это откровение в каком-нибудь публичном месте, скажем, на подходе к поселковому рынку, таковыми с равными шансами могли бы стать участковый и сапожник Артур. Сапожника можно было не опасаться; его наивная восточная душа готова была воспринять любую чушь без всякого сопротивления – мало ли что приходилось ему выслушивать от полусумасшедших местных старух, приносящих

менять проношенные до дыр подметки – но участковый был человеком твердых, как пункты Устава, понятий, и все, что отклонялось от них, представлялось ему подозрительным и требовало служебного разбирательства. Д. с первого своего появления на рынке выглядел в его глазах типом сомнительным: белый мерседес, шляпа, балахон, Л., держащая его под локоть, да и плюс я, фигура хоть с виду и вполне ординарная, но исполняющая не совсем ясную его милицейскому уму функцию.

И вот представьте, что такому «унтеру» начинают объяснять, что с выходом человека на околоземную орбиту человечество перешло на новый энергетический уровень подобно электрону, сбитому со своей орбиты квантом энергии, полученном от прилетевшего неведь откуда протона или какой иной элементарной частицы. В полете своей мысли Д. заходил и дальше, говоря, что человечество ищет иную разумную цивилизацию на планете, схожей с Землей, представляя ее обитателей антропоморфными, подобными нам, существами. К НЛО, контактах с пришельцами, выглядящими как пучеглазые саламандры из романа Чапека, Д. относился скептически; «контактеры» представлялись ему такими же ненормальными, как средневековые монахи, сдвинутые на сексуальной почве и под пытками признававшиеся, что ночами они летают на ведьмацкие шабашы и отдаются Вельзевулу. Такими же забавными, на грани инфантилизма, фантазиями были в его глазах и всяческие космические шлягеры с обещаниями «яблонь на Марсе» или следов на «пыльных тропинках далеких планет». Кто-то ведь должен был эти тропинки протоптать, и куда тогда делись те, кто протоптал? Л., слушая его, возмущенно фыркала, смеялась, говорила, что поэзию нельзя принимать буквально, но не могла не признать, что стихи эти качества весьма среднего, и их популярность объясняется как этой «серединностью», так и общим духовным подъемом, объединившим человечество подобно новому культу, обещающему воплотить в жизнь мечты о всеобщем счастье и согласии.

Д. рассуждал иначе, говоря, что иная разумная цивилизация по его представлениям, есть наша солнечная система с точно рассчитанными орбитами планет и их естественных спутников, и что выйдя в открытый космос, мы не только разгадали этот «шифр», но и, по сути, вступили в контакт с этой цивилизацией, влившись в «семью» этих спутников. Откровения такого рода снисходили на него во время «медитаций» в бревенчатой башенке, доступ в которую был закрыт ни мне, ни Л., но оставался под негласным запретом подобно тем неписанным законам, по которым живет рыцарский орден или воровское сообщество. После смерти Д., я все же решился подняться в этот шестигранник с круглым окошком, закрытым разноцветным стеклянным витражом, подобным донцу детского калейдоскопа, сменяющим узоры при каждом повороте картонной трубки. Рисунок витража копировал форму «розы», какой средневековые каменщики украшали фасады готических соборов, но то, что я увидел на узком подоконнике перед окошком, привело меня в еще большее изумление. Это был триптих, сделанный в виде складня, в центральную створку которого был помещен портрет Гагарина в гермошлеме, а по бокам написанные в такой же гиперреалистической манере Иисус Христос и Джон Леннон.

Тут, конечно, было, о чем задуматься, вплоть до психиатрической лечебницы, куда мог бы угодить Д., пытаясь внушить идею о тождестве этих трех персонажей, своего рода «троицы», участковому при входе в рынок. Вокруг них наверняка собралась бы толпа: дачники, местные обыватели, мужики от пивного ларька – народ притягивается к всякому шуму, тем более, что Д., входя в азарт осенившей его мысли, возбуждался, повышал голос подобно оратору на трибуне, начинал подкреплять свои слова энергичными жестами – и с точки зрения человека дюжинного, пришедшего на рынок с вполне конкретными целями, мог представиться чуть ли не юродивым из тех, что скитаются по городам и весям, обличая грехи сильных мира сего и возвещая близость второго пришествия. Подобного типа я видел на ратушной площади в Бремене: плотный, лет тридцати, парень в черной кожаной куртке, стоял, крепко, как монумент, упираясь

подошвами в лобастый булыжник, и зычным, срывающимся на верхах, голосом, вещал что-то очень, по-видимому, важное не только для рассеявшихся вокруг мальчишек и стоящих полукругом старух, но и прочих бременцев, беспорядочно блуждающих вдоль домовых фасадов и скрывающихся в переулках между домами. Старухи слушали молча, с тихим почтением, мальчишки хохотали, дергая друг друга за полы курточек, а когда я попросил гида перевести смысл того, что говорил оратор, он сказал, что тот призывает немцев покаяться перед человечеством за совершенные Германией грехи. Гид добавил, что парень приходится дальним, в третьем колене, родственником одного из фигурантов Нюрнбергского процесса, что он тронулся на почве этого родства, и когда его выпускают из психлечебницы, является на площадь с обличительными речами. По местным законам это есть нарушение общественного порядка, и через четверть часа на площадь приезжает полиция и забирает проповедника в участок, где на него составляют протокол и отпускают до следующего дня.

Я думаю, если бы Д. начал внушать участковому, что после полета Гагарина равного по масштабу события человечество не переживало, тот бы кивал в знак согласия, но косился по сторонам, прикидывая, кого из мальчишек послать на станцию, чтобы по телефону вызвать «скорую» со специалистом по психическим расстройствам в составе бригады. Я представил, как доктор, для маскировки одетый обычным дачником, приближается к Д., оттесняя отупевшего от умственного напряжения участкового, и начинает поддакивать его «тезисам», делая крайне заинтересованное лицо. «Маскарад» удается; Д. искренне верит в то, что встретил не просто понимающего, но мыслящего на его уровне человека; доктор берет его под руку, выводит из расступающейся перед ними толпы, подводит к двум крепким парням в форме санитаров, и те, не дожидаясь, когда Д. сообразит, кто они, накидывают на него смирительную рубаху в виде полотняного мешка без рукавов, плотно, от плеч до щиколоток, облегающую тело и оставляющую свободной одну голову, которая продолжает жить как бы отделенной от туловища. Кричать, дергаться, вырываться Д., наверное, не стал бы, опасаясь, что подобные действия усугубят его положение и переквалифицируют из «тихого шизофреника» в «буйного параноика».

Этот эпизод был не более, чем плод моей фантазии. Высказав нам с Л. осенившую его идею, Д. обессиленно обмяк в кресле, а когда я предложил выпить за то, чтобы люди осознали свою причастность к планетной цивилизации, остановил мою руку с бутылкой коньяка, сказав, что сколько мы ни пей, обыватель останется обывателем, погруженным в мелкие житейские заботы. И процитировал Цезаря из пьесы Шоу: мы стареем, а толпа на Аппиевой дороге остается все в том же возрасте.